

РАЗДЕЛ V. СУДЬБА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА

И. С. Урюпин
Елецкий государственный
университет им. И. А. Бунина

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛ АРХЕТИПА «РУССКОГО БУНТА» В РОМАНЕ М. А. БУЛГАКОВА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

Один из эпиграфов к «Белой гвардии» М. А. Булгакова, взятый из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина – «Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло. – Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран!» (1 : 179), – сообщает всему роману особую нравственно-философскую глубину в оценке «русского бунта», является своего рода метасюжетом булгаковского произведения, в котором писатель попытался взглянуть на революционные события своего времени сквозь призму художественно-аксиологических констант пушкинского миробраза. Вывод, к которому он пришел, в точности совпадал с размышлениями Пушкина о пугачевщине, оказавшимися не просто актуальными, а едва ли не пророческими в начале XX века: «Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Правление было повсюду прекращено <...> Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали <...> Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» (8 : 85). «Русский бунт» становится самой точной характеристикой /определением революционных волнений в стране в начале XX века; отражая подлинную сущность мятежной русской души, он выступает своего рода феноменом, обладающим чертами национального архетипа.

«Архетип русского бунта», являющийся органичной частью историко-культурной и ментально-психологической сферы национального миробытия, по мнению В. Я. Мауля, не ограничивается «социальным протестом или, например, классовой борьбой» (6 : 266), он вбирает в себя комплекс традиционных аффективно-иррациональных действий и стереотипов коллективного мышления эпохи, «выражающегося в интуитивных, бессознательных образах, архаичных по происхождению» (6 : 268). В русской литературе и фольклоре образом, концентрирующим в себе идею стихийно-природного бунта, оказывается «метель» или, как в «Капитанской дочке» Пушкина, «буран», прямо ассоциирующийся с бедой, к тому же «буран» и «бунт» выступают атрибутами одного древнего архетипа – *хаоса* («вокруг <...> царил хаос мироздания» (1 : 244)), противостоящего *космосу*, воплощением которого становится Дом Турбиных (в нем «тепло, а там («за Постом, на снеж-

ных полях». – *И. У.*) мрак, буран, вьюга» (1 : 208)). «... Мрак, океан, вьюгу» из рассказа И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» видят «затуманенные глаза» Елены, погруженной не столько в чтение, сколько в тревожные раздумья о судьбе хрупкого мира (микро- и макрокосма одновременно), который она пытается бережно сохранить.

Булгаковская триада «мрак, буран, вьюга», по существу совпадающая с бунинской («мрак, океан, вьюга»), выступает символом вселенского хаоса, который, по наблюдению Е. М. Мелетинского, «в архетипических конструкциях» «предельно сближен со смертью, с хтоническими силами» (7 : 71). Если в рассказе Бунина смерть – роковая случайность, которую самодовольные буржуа предпочитают не замечать (как не обращают внимания и на грозные природные стихии: «океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали» (3 : 272)), то в романе Булгакова смерть – «не замедляющая» явиться естественная необходимость: «Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам <...> Самое ее не было видно, но, явственно видный, предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалывшейся голове, и был. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси» (1 : 237).

«Великая дубина», ставшая символом «русского бунта» и буквальным орудием борьбы революционного народа со «старым миром», в булгаковедческих исследованиях традиционно соотносится с «“дубиной народной войны” из романа Л. Н. Толстого “Война и мир”» (11 : 586), что кажется не совсем оправданно. В толстовской эпопее народный гнев, выливающийся в «партизанскую войну (всегда успешную, как показывает история)» (12 : 131), порожден *духовным* порывом, определяющим «большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасностям» (12 : 132) во имя высокой идеи – спасения Отечества. Аллегорическим воплощением этого порыва оказывается та самая «дубина народной войны», которая, по словам Л. Н. Толстого, «поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с *целесообразностью*, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов» (12 : 131) (курсив наш. – *И. У.*). В отличие от «Войны и мира», где ярко выражен героический пафос в изображении и оценке народного миробытия, в «Белой гвардии» не только нет идеализации «корявого мужичонкова гнева» (о чем свидетельствует даже сама стилистика булгаковской фразы), но и оправдания того нравственного произвола, который утверждается на Руси «великой дубиной».

Г. М. Ребель, осмысляя образ «дубины народной войны» в романе «Белая гвардия», отмечает его амбивалентность, называет «орудием о двух концах»: когда с его помощью «начинают решать домашние, семейные проблемы, величественная фигура народного мстителя перерождается в зловещую фигуру погромщика и начинается “форменная чертовщина”» (10 : 62). Однако в «Белой гвардии» нет ни одного героя, подобного одухотворенному мстителю-правдоискателю Тихону Щербатому, но есть собирательный образ народной массы, одержимой «лютой ненавистью» к «офицерне» и грозящей погромами интеллигенции. Булгаков не испытывает пиетета и преклонения перед «железным потоком», как его литературно-политические оппоненты (А. С. Серафимович, Д. А. Фурманов, А. А. Фадеев), его

беспокоит та самая «дубина», которой угрожают своим классовым врагам «четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой» (1 : 230).

«Дубина», «без которой не обходится никакое начинание на Руси», – не просто символ мужицкого гнева, а образное воплощение мятежного духа народа, зримое выражение одной из архетипических черт его характера, знак его «бунташной» природы. Об этом очень точно в «Окаянных днях» писал Бунин, размышляя о двуединстве национального «состава» русского человека, в котором уживается *Русь* и *Чудь*, святость и «шаткость»: «Народ сам сказал про себя: ”Из нас, как из дерева, – и дубина, и икона“, – в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев» (4 : 337).

В отечественной историко-культурной традиции Пугачев неразрывно связывается со стихией народного возмущения, презирающей официальную государственную законность и конвенциональный порядок, подменяемый *самоуправством* и *своеволием*. «Дерзкий и решительный» «прошлец» (9 : 437), по словам Пушкина, тщательно изучившего «историю Пугачева», стал олицетворением «русского бунта», бессмысленность которого была очевидна уже потому, что его «пружиною» явилось *самозванство* – заведомая ложь, нравственная фальшь. Ни Болотников, ни Разин, ни кто-либо иной из предводителей крестьянских восстаний и волнений за всю историю России не ассоциировался со злонамеренным обманом самого народа, разве что Лжедмитрий, с которым сам Пугачев любил себя равнять («Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал?» (8 : 58) – бравировал бунтовщик в «Капитанской дочке»).

Феномен Пугачева (равно как и его осмысление Пушкиным) в эпоху революций начала XX века оказался особенно актуальным: сами собой напрашивались параллели между настоящим и прошлым. С. А. Есенин, глубоко прочувствовавший пугачевщину и растворившийся в ее угаре, внутренне пережил трагедию Пугачева в одноименной драматизированной поэме. М. И. Цветаева, остро воспринимавшая совершившуюся в России катастрофу, искала ее разгадку в «Истории пугачевского бунта» и в «Капитанской дочке». По ее мнению, «в Пугачеве Пушкин дал самое страшное очарование: зла, на минуту ставшего добром» (13 : 252), этот пугачевский соблазн повторялся в соблазне революционном. Цветаева, сама подвергшаяся его «очарованию», попыталась уяснить сущность Пугачева, противопоставляя ему других бунтовщиков и вожаков мятежной России – в частности Степку Разина. «Но: Пугачев и Разин – какая разница!» (13 : 245) – восклицала она: если Разин казался поэту воплощением бесшабашной удали, то Пугачев – коварного вероломства.

Такое во многом субъективное восприятие истории Цветаевой оказалось созвучно и Булгакову, для которого было очевидно, что всякая революция – далеко не только стихийный народный порыв к установлению справедливого миропорядка, но прежде всего разгул страстей и темных инстинктов черни, вызывающих панический ужас у простых обывателей, подобных Лисовичам из «Белой гвардии». «Но согласитесь сами, – говорил Василиса Карасю, – У нас в России, в стране, несомненно, наиболее отсталой, революция уже выродилась в пугачевщину... Ведь что же такое делается... Мы лишились в течение двух каких-либо лет вся-

кой опоры в законе, минимальной защиты наших прав человека и гражданина» (1 : 379). В отечественном историческом сознании пугачевщина, ассоциируясь с беззаконием и произволом, вместе с тем на протяжении всего XIX века в самых разных социальных сферах воспринималась как испытание, ниспосланное свыше русскому народу и государству. А. О. Ишимова в своей «Истории России», высоко оцененной Пушкиным, приводила факт допроса Суворовым Пугачева, дерзко заявлявшего полководцу: «Богу угодно было наказать Россию через мое окаянство» (5 : 115).

«Окаянство» и «пугачевщина» стили понятиями если не тождественными, то взаимосвязанными. Это очень хорошо осознавал Бунин, возмущавшийся «великой ложью» духовного самозванства большевиков во главе с Лениным, узурпировавшим власть и залившим Россию кровью, перед которым исторический Пугачев не идет ни в какое сравнение («Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот “планетарный” скот – другое дело. Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное» (4 : 411)). Булгаков, также потрясенный «окаянством» революционной стихии, разыгравшейся на родной Украине и лично наблюдавший парад самозванцев, торжественно вступавших в «Киев-город» (будь то фельдмаршал Эйхгорн, или Семен Васильич Петлюра, или «польские паны (явление XIV-ое) с французскими дальнобойными пушками» (2 : 308)), искал аналогии в «истории Пугачева».

В «Белой гвардии» образ Пугачева, являющийся одним из ключевых в метаструктуре романа, незримо присутствует и в сценах разгула казаков-самостийников во главе с полковниками Торопцом и Козырем-Лешко, хитростью взявшими Город и взбудоражившими простой народ обещаниями «вильной Украины вид Киева до Берлина» (1 : 208), и в самоуправстве полковника Болботуна с сотником Галаньбой, и в самом «таинственном и безликом» (1 : 239) Петлюре, «в котором слились и неутоленная ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяния тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины... ненавидящих Москву, какая бы она ни была – большевистская ли, царская или еще какая» (1 : 231). Подобно Пугачеву, мечтавшему «броситься в Русь, увлечь ее всю за собою» (1 : 438), чтобы создать народное царство, Петлюра «желал ее, Украину, завоевать» (1 : 239) и даровать ей национально-государственную независимость, тем самым он обеспечил себе небывалую поддержку среди жителей Города. «Слово – Петлюра! – Петлюра!! – Петлюра! – запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок», «оно загудело по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами», «в Городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом» (1 : 239), хотя никто в точности не знал, кто же скрывается под этим именем: «Говорили, что он будто бы бухгалтер»; «нет, счетовод»; «нет, студент»; «он был уполномоченным союза городов»; «типичный земгусар» (1 : 228); «бритый»; «с бородкой»; «разве он московский?»; «он был в Тараше народным учителем» (1 : 229); «газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата, каждый раз разного, с подписью – Симон Петлюра» (1 : 239).

Кто бы ни был Петлюра, пусть даже «просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года» (1 : 229), «столь же замечательный, как миф

о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый» (1 : 238), в булгаковском романе он становится образом, рекуррентным образу Пугачева и несет на себе печать архетипа самозванца, чрезвычайно важного (едва ли не ключевого) в отечественной духовно-ментальной семиосфере.

Библиографический список

1. Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 1.
2. Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2.
3. Бунин И. А. Собр. соч.: в 6 т. М., 1994. Т. 3.
4. Бунин И. А. Собр. соч.: в 6 т. М., 1994. Т. 6.
5. Ишимова А. О. История России в рассказах для детей: в 2 т. СПб., 1993. Т. II.
6. Мауль В. Я. Архетипы русского бунта XVIII столетия // Русский бунт: сборник историко-литературных произведений. М., 2007. С. 255–442.
7. Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994.
8. Пушкин А. С. Собр. соч.: в 5 т. СПб., 1994. Т. 4.
9. Пушкин А. С. Собр. соч.: в 5 т. СПб., 1994. Т. 5.
10. Ребель Г. М. Художественные миры романов Михаила Булгакова. Пермь, 2001.
11. Рогинский А. Б. «Белая гвардия». Комментарий // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 563–590.
12. Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 12 т. М., 1987. Т. 6.
13. Цветаева М. И. Пушкин и Пугачев // Русский бунт: сборник историко-литературных произведений. М., 2007. С. 217–254.

Т. Ю. Малкова

Средняя школа № 1288 г. Москвы

**МИЛОСЕРДИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»**

«...так кто ж ты, наконец? – Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» (4 : 384). В романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» изначально, в эпиграфе из «Фауста», задаётся такая система мышления, при которой однозначность оценок, отделение одного качества от другого так же неуместны, как и членение реальности на дискретные, исторически сменяющиеся друг друга события. Высокое и низкое, пафос и насмешка оказываются неотделимы друг от друга. Одни состояния переливаются в другие, перераспределяются в самых различных сочетаниях так же, как и сам мир, о котором повествуется.

Добро и зло, свет и тьма в романе изначально присущи миру, составляя его естество, практически равновелики и взаимосвязаны. Эта позиция выражена в словах Воланда: «Что делало бы твоё добро, если бы не существовало зла» (4 : 716).

В 29 главе романа Иешуа обращается с просьбой к Воланду. Но в ранних редакциях Булгаков делал Воланда подчинённым Иешуа, от которого сатана получал распоряжение: ему велено было унести главных героев из Москвы.